

В ЗАКОУЛКАХ.

Кто родился на Дону, тот знает Маньинскую степь. Кто вырос в Заманьчи, тот знает Казенный Мост. Если перейти Маньинь по этому мосту с востока на запад, пересечь заткнутое солнышковою коркой серое зайдше и подняться на пологий яр, застланный ковыльной полостью, то всего в версте от себя к югу нельзя не увидеть большой, одинокий, темноверхий, широконизкий курган. Это — Маньин Хара Толга.

Мимо кургана, широкою, прямой и бесконечной полосой пролегает густо поросший бобриком темнозеленой гусьини скотопрогонный шлях — "обрезная дорога". По середине шляха, светло-бурым лентой, змейется дорога проезжая.

Если вам случится тут проезжать, то вспомните мою просьбу, — остановите у подножья кургана подводу, дайте коням после под'ема передышку, а сами подымитесь на Маньин Хара Толга, и вы познаете величие и красоту нашей великой степи.

Хороша она во все времена года, но во всей красе степь предстает вам в половине апреля и в мае, в тихий, ясный день. Входя на курган и приближаясь к его макушке, вы заметите, как с каждым вашим шагом широко раздается круг и все дальше и дальше, в безмерность отодвигается свод неба и земли.

Наоконец, вы — на макушке кургана и в центре громаднейшего круга верст тридцать в диаметре. Ваш взор устремится в бескрайнюю голубеватую даль, а легкий ароматный воздух станет ширить вашу грудь, и вы неволь-

но глубоко вхоженое. Ложное солнышко шире закрывает нас теплым, а мягкий ветерок, чуть шевеля верхушку разногранных, играясь ворсой тальничных ковров, с Навиданной роскошью разостланных ковров кургана, приятно застывает по лицу свежестью.

На севере, верстах в пятнадцать, широко и беспорядочно, белыми пятнами среди зелени садов, раскинулась станица Миш-Бурловская с двумя золоторерными церквями, — буддийскими, на холме за станицей, и православным, посредине станицы, над Гремичим Голышником.

На востоке, верстах в восемнадцать, золотой луковницей засияет едва видный в маревной дали Александра-Невского храм над сивиншей в котловине станицей Великопольской.

Ближе, между вами и обилием станицами, то скрыта в темнозеленых зарослях неподвижных камышей, то зеркальными осколками сверкая в высоких дугорых травах, на север — к Дону, и на юг — к Каспию, спокойно протянется елиственная в мире соленоводная манья.

На юг и запад от вас, в ширину и длину зоркости ваших глаз, расстелется неизмеримая, ровная ширь: маленькие кашары коневодов, еще меньшие хуторы табунщиков, серые точки старик сиродов, да гурты оюта, коски табунгов и белые пятна овец точками тернятся в миражных волнах безмерного Заманьского престола.

А над вами — величественное обиталище богов — громадный, чисто голубой купол с беспорядочно нависшими громадами, катю-белых облаков, рваные тени которых бесдумно ползут по яркой зелени равнин, перекатываются через бугры, закрывают курганы и вливаются в невидимые вами балки.

Вот этот круг во все стороны от Манцыи Кара Толга и есть моя маленькая родина в Родине великой. Это — та земля, на одной из точек которой и выпал из утробы матери, и здесь протекает Аял, приток манья, родой моего и впервые оюта.

Горчайший души лук, полный чеснок, пахучая и восточная кругляшка-петрушка — меж густых луговых трав; сочный, хрустящий на зубах приятный сочный натрап, беломысы молочный косик и сахаристая пятипала морковь — среди трав степных; июльские терны, июле-сладкая ежевика в балках и котловинах; — все эти, на воле раскустившие плоды маньинской степи, на всю жизнь оставили свои укусы на языке моей маньи.

А убогий по виду, маленький, серый старик хутор в устье Аяла, ныне стертый с лица земли, на месте которого уже перестал расти бурьян, не заолонят от моего внутреннего леора ни миллионные шумные спертанные города, ни бури и терны жизни, ни важные события в историях великих и малых наций.

Манья и образы сотни лиц мелькают в моей памяти каждый раз, когда я мысленно оказываюсь в своем круге вокруг Манцыи Кара Толга, но ближе и яснее всех я вижу два лица: Нуритца и Дельту.

Это — две девочки одних лет, мои друзья детства, юности, а потом ближайшие люди в зрелости. Кембрижница, жизнь спутала и перепутала нас, и в нашем бархатном в ее силках эти две женщины, каждая по своему, вывернули предо мною свои души, и в них оказались неизвестные мне законы...

Не знаю почему, но в одно лето, когда хуторы раскоцелись по степи на летние стоянки, ближе к табунным попасам, наши семьи остались на зимней стоянке, среди пустых, заглохших провалами окон и дверей землянок, камышовых сараев, полных чертей, восточных гнезд, обидных ажей, одиночных кошек и блох.

Из детишек одного возраста, — бегающих и играющих и вдали от хутона, пасущих телят, разоряющих гнезда, ловящих раков и рыбешек, — оказалось нас только трое: я, Нуритца и Дельта. Это лето и положило начало

нашей тройственной дружбе. Я не помню, по сколько нам было тогда лет. Помню, что бежали мы уже в штанишках и носили даже рубашки. Помню это потому, что в поли рубашек часто собирали мятую и сочную бабку, а штанишками ловили в избе рыбок.

Но не этим то лето памятно. Оно памятно тем, что в это лето мне "засватали" невесту. Разумеется, одну из моих подруг. Не могу себя ни в чем упрекнуть и сейчас. Поступил я тогда честно: когда мать вдруг спросила меня: "Кого же мы тебе возьем? - Нуриджа или Дельтя?", - я, не задумываясь, ответил: "Обеих"! Видимо, я почувствовала возможность обиды со стороны одной из моих "невест", которые тут же сидели и из одной со мной чашки, обжигаясь, дуя и посящая, с аппетитом утискивали горячую пшеничную кашу с холодным кислым кумысом.

Когда мать разъяснила мне, что обеих сватать нельзя, а нужно сделать выбор, то и тут я увернулся, заявив: "Если так, то ту, которая сама захочет". Тут произошло нечто неожиданное: пока мать разъяснила мне, что выбор должен сделать мальчик, а не девочка, Нуриджа проявила решительность: "Я пойду за Калгура, только дай ты мне поцеловать из твоей новой пестрой ложки!" Мать засмеялась, прыгнув изо рта кашей, покати-лась со смеху Дельтя, а я без разговоров вручил Нуридже свою новую, пестро расписанную деревянную ложку. С этого дня меня и Нуриджа стали называть "женихом и невестой".

Когда наступила моя восемнадцатая весна и через год должен был кончить "академию наук" сальских камышков - четырехклассное городское училище, а там стать учителем, и когда Нуридже перевалило за шестнадцатую, наши родители стали сватами формально, исполнив законный обряд. С той весны Нуриджа и я уже на самом деле стали невестой и женихом.

В нашем простом быту любовь не играла в браках. Если парень и девица душой и телом беспорочны, если родители приходили к согласию, все условия счастливого брака были налицо. Нуриджа и я оба пожимали здоровьем и силой. /Заманчивые наигрыши эротическое и смелее стилистики!/. Родители наши не первый десяток лет были добрыми соседями. О том же, что русская школа вырастит из меня много человека, с другими вкусами и взглядами, кто мог подумать в нашем убогом хутуне?

А между тем, жадное и бессистемное чтение чего попало из обширной русской литературы уже к восемнадцати годам развило во мне и выдвинуло на первый план любовь. По обыкновению большинства героев русских романов, я начал искать "поимандую душу", "духовной гармонии", "чистой любви".

Когда я уже женихом вернувшись на летние каникулы в наш хутун и стал серьезно присматриваться к нашим девицам, коих было тут пять-шесть, я понял, что нарк для меня тут нет. Единственная, о которой можно было подумать, была не моя невеста, а Дельтя. К тому же, моя несообразительная невеста, наглядно проигрывая при сравнении, неразлучно дружила с Дельтя, которая при Нуридже еще больше выигрывала.

Нуриджа выросла в здоровую, плотную черноземную фигуру, с широкими плечами, саязными, узкими глазами и приплюснутым носом. По характеру она была молчалива, в движениях медлительна, но крепотливо работяща. Моя мать да и вообще женщины нашего хутуна считали ее хорошей девицей, из которой выйдет отличная хозяйка и плодотворная мать здоровых детей.

Полной ей противоположностью была Дельтя. Она была тонка в талии, как мурашка, стройна, как горный тавалжан, ростом была выше Нуриджа, лицом светла, носик был прямой, но самое замечательное в ее лице были ее глаза - большие, терпено-черные, в густых ресницах; красивые, ярко пун-

цены губки (без карандаша, разумеется!) были всегда готовы принять в движение или раскрылись в милой улыбке, обнажить белопенный ряд зловещим зубчиков. Дельта была не в чести у хутунных дам, — она была изысканна, насмешлива и капризна по характеру. Была она отличная балаласчица и играла только свои собственные оригинальные импровизации, даже в наш однообразный танец она внесла свои колена. Конечно, все сердца нашей хутунной молодежи были у ног Дельты.

День за днем, все чаще и дольше я просиживал у Дельты, наслаждался теплом ее ласкового взора, музыкальной звонкой смехом, брошенным словцом, попотанься ее домбура, под которое я научился по-калмыцки танцевать. Все стало ясно, что между мной и Дельтой происходит сложное сжатие чувств. Открытых признаний между нами еще не было, но оно готово было прорваться каждый миг. Нуридка, которая сперва охотно навешала свою подругу, видясь здесь со мной, постепенно перестала приходить и замкнулась в себя...

Срозини со степи сено. В сенике каждого двора росли скирды желто-зеленой сушеной травы. Однажды я увидел, как Дельта была на вершине скирды, а мать с трудом поднималась снизу обилие сена наверх. Лишь стоишь, на же сено было уже сложено. Я считал за должное пойти помочь соседкам. Сена на возилке оказалось немного, и я быстро закончил работу. Мать Дельты села тут же в тени скирды и, большими пестрыми боковыми платком вытирая пот с лица, разговаривала со мной о том о сем.

Подарив наверх последний ошлок и дождалась, чтобы Дельта спрыгнула им верх скирды, я отбросил в сторону чилы и шумно крикнул наверх:

— Дельта!.. Прыгай сюда, я поймаю тебя!

— Да что ты, разве можно с такой высоты! — запротестовала было мать и тут же ахнула.

— Если ты говоришь — прыгай, — проговорила наверху Дельта и вмиг скользнула вниз с 4-х саженой высоты. Похолодев от страха я ринулся вперед и успел подставить грудь и раздвинуть руки. Удар жесткостью Дельты по моей груди был настолько сильным, что я, с крепко прижатой к груди девушкой, свалился навзничь.

Испуг и радость обоих нас были настолько сильны и бурны, что я, первым вскочив на ноги, поднял Дельту и неожиданно для себя крепко обнял ее и поцеловал в губы. Девушка ахнула и смущенно зарделась, не зная как ей реагировать; мать же закричалась и, утирая платком глаза, укоризненно повторяла: "Вот глупые, вот глупые, исколечиться могла девушка, ну подожди-же Дельта, я тебя проучу, как прыгать серной со скирды..."

Случай этот устранил между нами много преград. Разговоры мои с Дельтой стали более определенными, и скоро стало ясно, что моя фигура заслонила ей солнышко золотое. В то же время, из ее же слов, я знал, что и моя невеста, Нуридка, белый свет видит только во мне. В нашем тихом, маленьком и патриархальнейшем хутунке завязался узел сложного слоеного романа. Распутать его, не причиняя никому боли и обиды, было нельзя. В трех семьях воцарилось смятение; по хутуну поплыл шепоток...

Когда каймылы подошли к концу, исход для меня стал ясен: В доме родителей Дельты появится сват, а меня на весну женят на Нуридке. Я захотел взять решение дела в свои руки. Нуридку я не любил. Как самый близкий друг детства, она не была мне противна, но без Дельты, казалась мне, не прожить. Под телом ее больших черных очей я буквально таял: все в ней вызвало во мне восторг. Единственное, что меня в ней огорчало, так это ее характер, — вспышчивость, капризность и вообще нервозность не имели в нем границ.

Так неожиданно, прямо таки за один миг, она прервала мои труды по обучению ее русской грамоте. Уже прошли мы с ней весь алфавит и начали читать, но стоило мне только раз раздраженно поправить ее неправильное

произношение буквен — в после — с, как она вспыхнула магом, вылинула огнем черных очей, разорвала азбуку и сунула под тапачек в костер...

- Ну и паршивый у тебя характер Дельтя, заметил я, стараясь казаться спокойным, попарывая воздушные.

- А тебе какой интерес в моем характере?!

- А какие? меня это интересует, женьсь же я на тебе?..

- Кто это тебе сказал? В моих мыслях того нет!

- Ну, какие, Дельтя?... мы друг друга... — начал я, но был перебит.

- Так что-ж?! У тебя нечестно, и для меня где-то намерно есть суженый!

- Так не пойдет, как только кончу школу весной, я увезу тебя и отвяжусь от Юришка.

- А-а-а-а-а-а-а!!! Из-за меня бросишь Юришка и увезешь меня?!

- Ну да...

- Брось глупости; без моего согласия никто меня не увезет; грудь тому вонюху похом! И накрепко застегни в сердце: У моей подруги Юришка и жениха не отыщу; лично мое совесть имеет; каким лицом посмотрю потом на Юришку? Ты достался ей, так и должен жениться. Помнишь тогда, за нашей Юришка опередила меня, то была доля. А то, что ты сейчас думаешь — блаж. Больше мне об этом ни слова, или больше к нам не ходи!..

И был сбит с толку, ошарашен и не знал что и говорить ей, чем убедить, раз не достаточно убедительной оказалась наша взаимная любовь. Приход ее матери прервал наш разговор, и я впервые ушел от Дельти в плохом настроении.

До отъезда в школу еще два раза я говорил с Дельтя и оба раза получил твердый отпор. Так и уехав я без принятого решения, без выясненного положения, оставив в сумятице все три семьи. Но уезв, казавшийся мне слишком затуманенным и удивившимся в смысле ударе меня мечом, очень просто пропутала Дельтя. Она сказала — нет, и никакного уезжа не оказалось. За зиму ее просватали в Инт-Бурловскую станицу, а весной, как только я приехал домой на Пасхальные каникулы, меня женили...

В 1917 году, в начале февраля, я гонел на действительную. В мою приближно на сборный пункт в ст. Константиновскую, царский строй уже пал, — не пришлось мне послужить хоть пару дней при старом режиме. Новое положение несло новые возможности и, как потом оказалось, слишком много. Через три месяца ко мне дошла очередь ехать домой на две недели. По пути я заехал в нашу Бондурганскую станицу на хуторный праздник-богомолье. В хуруле, среди снукаей толпы людей, я неожиданно столкнулся с прелестной молодницей в сиреневом платке. Это была Дельтя. Мы были рады этой встрече. Из Инт-Бурловской станицы была она тут одна. Был одинок в этот день и я. Разумеется, все богомолье мы совершили вместе. В хутор Богла, лежащий между станицами Бондурганской и Инт-Бурловской, и где у обоих у нас жили родные дяди, мы приехали вместе. Не другое утро мы выехали домой вместе. Нам было по пути.

Ах-ах!.. Что это был за путь, и как был короток тот майский день! Дельтя не любила мужа, который уже второй год был на войне. Я не любил свою жену и три месяца не был дома. Мне было двадцать два, а Дельте двадцать, и мы любили друг друга. Сердца наши были полны еще неудовлетворенной любовью, а жизнь в нас бурлила лавой. Кругом безлюдье; в степном просторе, среди голых веток хлебов мы только вдвоем, мы попали в безвыходное положение!.. Кто нас не понимает, брось в нас камни!..

Как хороша пестрая густая майская зелень в устьях извилистой балки — Бургуста, как пынине ароматна маленькая полянка меж терновыми кустами, лесное солнышко сверху и неутомонный навороток были свидетелями нашего счастья..

До торопости набить все сосуды пахучей, сочной жеманной травой, перекрестив головы на холках друг у друга, блаженно дремали наши кони, благословляя спокойных ездоков. Солнце натилось, время из-за нас не остылорилось. Стало клониться к вечеру, когда мы, за десять часов верховой езды по-кряж двадцатичерстной путь, под'ехали к станции Ики-Гурловской. Разуме-ется, я не зрелая и Дельте на дом. Мы попросились на окрестные станции.

Грозными раскаленными кумисными котлом солнце медленно врезалось в край размягченного жаром круга земли, когда и поднялся с конем на макушку манцзы-лара-Толга. Душно потнувшись своими большими и подвижными ноздрями воздух, жадно вдыхнув в легкие нежные залохи родного желтого дымного лацерна, протискиваясь заржал мой золотисто-рыжий "Лордович". Он энергично зрел конитом о зом, разрывая в ключья ковышный настл кургана. Мы с "Лордовичем" были в центре нашей маленькой родины. И он угадал свою обетованную землю, где жизнь его была сытна, весела и волынга.

Когда я с'ехал с кургана и въехал на проезжую дорогу, шари "Лордо-вича" стали особенно широкими и энергичными. Он стремился в своей хутун. На широкон шаг весело отгоняя головой, гривой и хвостом вазойширик комаров, время от времени он тихонько ржал, и ржание это было похоже на вос-торженный, страстный стон двух молодых влюбленных, забывших о всех "трид-цати трех небесах".

Приехал я домой после вечерней дойки коров. Счастливым и бурно про-веденный день нарочно был причиной того, что я, наскоро поужинав, загал-лялся спать и так крепко заснул, что до утра не проснулся и не шелох-нулся. Понятно, что такое поведение служилого удивило мою жену, и она наутро, с чисто кенской хитростью, сделала кое-какие исследования в мо-ей одежде.

Разре в том радостном любовном угаре в безлюдной степи мог я по-думать о своей жене, об аккуратности, осторожности?.. мой галшифе оказа-лись предателем. Улики были настолько бесспорны, что мне ничего не оста-валось, как смущенно молчать и хлопать глазами.

мирный и покорный была человек моя Нуриджа. мое настроение было первой ее заботой. Но что может быть большее оскорбленной гордости и обманутой любви?.. Нуриджа не строила сцену. Сидя у моих ног на кроват-ти, укрывшись за багдахином над постелью, тихо глядя она обильные слезы и придушенным шепотком повторяла: "И то ждала вас, скучала и думала, а вы, е д у ч и к о м о, развратничали в дороге... мед вломил в мое серд-це".

Что я мог ей сказать? Чем мог утешить?..

Вдруг Нуриджа спросила, наклонившись ко мне:

-С кем же это было, кто она?!

-Да, знаешь ли, встретился на престоле с Дельтя; она присехала одна; отту-да мы ехали вместе... совершенно одни...

И тут я услышал самое неожиданное:

-Э-э-э!!! То была Дельтя?! Если так, то я не страдаю. Дельтя - другое дело! Грех вал с нею мне не обиден.

Это было так неожиданно и странно, что я не выдержал:

-А тебе-то, дура, не все равно?

-Хоть и все равно, но Дельтя имеет на вас право. Я ей всю жизнь благо-дарна, - она могла меня опозорить, сняв моего жениха, а Дельти этого не сделала из-за стыда предо мною, да из жалости ко мне, хотя вы и про-сили ее стать вашей женой. Я все знаю, только молчу! Вот почему я не раз-ную вас к Дельтя. Она несчастна в замужестве, а виной этому и я!

Убедленно растолковав мне свои мысли и совсем успокоившись, Нуриджа вышла хлопотать по хозяйству. Моя простоватая и невзрачная жена нежми-данно раскрыла предо мною свою душу, и в ней оказался неизвестный мне закоулочек...

Четвертого октября 1918 года, в перестрелке с красными, будучи командиром взвода сотни Донского полка, я был ранен пулей в ногу. Гана была из удачливых: выводила из строя, а жизни не угрожала. Подлежили мы пару недель в Великокняжеской больнице, устроенной на одном из этажей местного реального училища, я выписался, чтобы остаток времени до полного выздоровления провести дома, так как рана стала заживать.

На третий или четвертый день по моему приезду домой, когда я еще лежал в ожидании заезженных кистей-подмышников, смущенно улыбаясь своими большими черными глазами, пришла вдруг Дельта. Поздоровались со мной за руку, что для мамы было новшеством, она присела к моему изголовью, и мы стали охотно болтать о том о сём. Дельта не обращала внимания на других членов нашей семьи, чем вызвала явное недоуровство меня моего старшего брата, регистровой хранительницы всех казачьих бытовых традиций. Но все же и Дельта допускала большую нетактичность. Вскоре мы остались в комнате вдвоем. Дельта нежно поцеловала меня и стала гладить по голове. Признаюсь грешный, — ее руки были для меня как ласки матери в раннем детстве. Мне хотелось закрыть глаза, лежать неподвижно и тихо плакать от удивления.

— Как хорошо, что ты так кстати приехала в гости к своим — проговорил я.

— Все не к своим я приехала, а к тебе, чтобы узнать, каково твое ранение. К своим я еду отсюда — отвечала Дельта.

— А от кого ты узнала, что я ранен и лежу дома?

— Нуричка передала мне через просежого!

И удивленно уставился на Дельту.

— Да она, ведь, знает всё про нас тот день! — сказал я.

— Ну да знает, она уже выслушивала меня! Ах, Нуричка так справедлива, такая у нее душа просторная — со вздохом проговорила Дельта — Она не забыла, что и я думаю про тебя, а главное прощает мне всё...

— Но, Дельта, ведь и ты ради нее пошла на великую жертву, ты по иному пути направила жизнь нас всех трех, Нуричка тебе за это благодарна — перебил я Дельту.

— У меня то был каприз разбалованности, а потом я уж жалела, да и вообще мне мой шар дался легче, нежели Нуричке её отношение ко мне после всего того. Вот почему ее душа и шире и чище...

В душах моих простых и темных подруг вновь оказывались неизвестные мне зноулки...

Когда Дельта уходила, подсмеиваясь над нами, Нуричка заставила нас поцеловаться и сама, как родная сестра, ласково проводила подругу.

После кровавой и страшной зимы 1919 года, в середине апреля, с своим вестовым, другом детства по нашему хутору, я спешил взглянуть домой, имея командировку в штаб ген. Буланжеля. В эти дни Сальский округ только что был очищен корпусом Врангеля /кубанцами/ от красной армии. Все станицы, все хутора, казармы коннозаводчиков, казачьи хутора, даже сама деревня носили еще следы разбоя, грабежа и опустошения. Как и всегда, была роскошна наша степь в полном цветении, но была пустыня, безжизненная. Не видать было вокруг ни людей, ни животных.

Из Великокняжеской мы пошли домой пешком через Казенный мост. Так как были позднотато, то мы заночевали под нашими зноулками в степи при дороге. После бесчисленных тревожных ночей на фронте, после ночей в ожидании, часто при оружии, первая ночь в тишине и покое родной степи, за сотни верст от фронта, была удивительно приятна, и крики ночных птиц были для нас родной музыкой. От жары за день земля было тепло; густая трава ласкала нас уютно и нежно благоухала...

Ранним утром, когда даль тонула еще во мгле и по степи переливались невидимые журавли, мы тронулись в путь дальше и еще до полудня проходили мимо Манцын Хара Толга. С этого холма мы видели уже крыши отрогий нашей кашары, но должны были перевалить еще за два холма, чтобы добраться до хутуна.

— Давай, взойдем на курган, взглянем на нашу родину и отдохнем — предложил я востовому.

Родной наш круг вокруг Манцын Хара Толга был неизменно величественен и прекрасен. Полными грудями вздохнули мы, сняли фуражки и в молчаньи уселись на макушке кургана. Мы были подавлены красотой и ширью родной степи и безжизненностью ее лица.

— Всего месяц какой похолодничали в степи большевики, а какое опустошанье произвели, куда все подевалось? Ни табунов, ни гуртов, ни отар, что тучей, бывало, бродили там и здесь! Что будет со степью, если мужики совсем завладеют ею? — проговорил я.

— Не дай того Бог! Мужели думаете, что они еще вернутся и завладеют нашей степью? Ведь тогда конец! — отвечал мне востовой.

— Борьба не кончена, враг силен, никто не знает чем дело завершится. Ну, долой грустные думы, заводил Сокту "манца гидек гол" — поюсем. Спеть нечего, до хутуна два часа ходьбы, а времени еще вагон. Я, знаешь ли Сокту, больше скучал по этой степи, нежели по семье, не то что ты, — вечно про свою Сексян скучаешь!

— Знаю я, про кого ты думаешь! — огрызнулся Сокту и зарел заказанную мною песню. Востовой мой петь умел, голос у него был приятный. Спокойным, тягучим мотивом повел он старинную песню про реку маньчжунь. Часто сбиваясь, осторожно стал подтягивать и я. Мы пели с чувством. Под конец песни я уловил, как голос моего Сокту изменился. Взглянув на него уголком глаза, я увидел, как по щекам и широкому носу его катились слезы. Я сделал вид, что не замечаю, но и сам умолк. Мы отсутствовали год целый и год целый воевали в рядах своего великого полка с большевиками. Мы не хитрили и не глумили, воевали за совесть, наши души очерствели, много мы видели смертей, но раз и сами их принимали по необходимости, а теперь родной простор, где люди так добры и где спокоен веков не бывало убийств, мягчил наши сердца и слезой омыл наши души...

— Ну, чдем; хорош наш курган, но не забудем же и про Курчижа и Сексян — пошутит мой Сокту, и мы пошли дальше.

После месяцев беженства, нужды, болезней и опасностей, значительно обедневший скотом, от тифа и оспы потерявший много людей, наш хутун был в сборе и начинал снова налаживать взворощенную жизнь.

Когда я пообедал и отдохнул, Курчижа сказала:

— Дельта у своих, пойдите к ней сейчас-же, она при смерти от сухотки. Она просила, чтобы я немедленно послала вас к ней, если только приедете при ее жизни.

Я без слов пошел, и то, что я увидел, было ужасно: На постели, устроенной на земле, пред левой кроватью, на белой высокой подушке, среди космы путаных черных волос, лежал череп, плотно оклеенный пергаментом. Только вместо безжизненных глазных ям, огнем пылали еще живые, громадные черные глаза, полные ужаса и печали. Это была бледная тень прежней Дельты. Сочные губы сердечком теперь уже не сходились, и промокших мертвым оскалом белели зубы.

Я внутренне содрогнулся и не знал, что и говорить. Увидев меня, Дельта радостно свернула глазами, шумно и с хрипом в груди вздохнула и искошней рукой слабо махнула на табуретку у своего изголовья. Под табуреткой стояла белая жестяная баночка из-под консервов, которая была полна кроваво-гнойной мокротой.

Молча сев на табуретку, я взял в руки обтиратель халатной ищейки вы



сохнувшую кисть ее руки. Я заметил, как зашевелились ее губы и приблизил ухо к ее устам. Но Дельта ничего не успела сказать. Вдруг она начала чаще дышать, грудь стала высоко подниматься, и начался тягучий, мучительный кашель с ужасным хрипом, свистом и клокотанием в груди и горле. Лоб и руки ее вылиг покрылись тысячами мелких холодных капель пота, губы посинели.

Когда прошел приступ магии, больная уже не могла пошевелиться; с закрытыми глазами, мёртвенно побледневшая, она, казалось, умерла. Только слабое шевеление, да мелко дрожащие тонкие жилки на щеке свидетельствовали о наличии жизни.

Я тихонько ползнул ее руку на постель, прикрыл ее краем одеяла и встал. В эту минуту Дельта открыла глаза, внезапно вздрогнула и слабо мигнула головой, милые черные очи заблестели слезой. К горлу моему подкатывался душный комок, губы стали запергаться, и на глаза накатилась мусть. Я отвернулся и вышел, сказав, что скоро вернусь.

Вернулся я домой глубоко потрясенный ужасной судьбой Дельты. Я не вытерпел и дал волю слезам. Возле меня стояла Нуришка, гладила мою голову и тоже плакала.

В ту же ночь Дельта умерла и была похоронена в родной Чобановой балке, в могиле, вырытой ее отцом и мною. В этой балке, в детстве, мы втроем часто собирали кисло-сладкую темно-красную ежевику и рвали кислый терн. Позже, душной петлягой бегали мы сюда, играя по лунным ночам в "Белую Кость". В первые теплые весенние дни, когда молодая трава точно коррик густа и мягка, усевшись на склонах балки, мы пели, бьтало, песни песни...

---

В зиму 1920 года красноармейский конный раз'езд уничтожил наш хутун, — всех беззащитных обитателей его красногвардейцы русские поголовно вырезали, не щадя ни детей, ни стариков. Все женщины были изнасилованы, а хутун сожжен с трех концов. Волыняники узнали, что из этого хутона в казачьих полках воеют против них все молодые мужчины и есть среди них офицер. Геройски защищая свою честь и своего ребенка, погибла тогда и моя любимая, скромная, но решительная Нуришка. На месте нашего двора, над трупами моих родных, осталась куча золы и обгорелой глины...

Подняв радужную пыль по сугробу чистому снегу, по Заманьеской степи прозной тучей двигались Донские конные корпуса, стремились к врагу, заплаташему мужичью слободу на казачьей земле — Боронцовку. В леденяще морозную, темную ночь, подгоняемый холодным северным ветром, окутанный серой, курящейся мглой, проходил наш полк мимо того места, где был наш старый Ахальский хутун.

Из расстроенной колонны полка выделилось нас десяток всадников и, ведя коней в поводу, побродили им меж занесенных снегом холмиков. Под каждым из них лежали трупы чьих-то дорогих и родных. Никто из нас не плакал, никто не отпускал проклятий, никто не говорил громко, — стиснув зубы, мы сели на коней и поскакали вдогон полку. С этой минуты он стал нам еще дороже, — находясь в его рядах, мы могли отплатить злодеям...

---

"Верую и исповедую, что нет у народа ничего более возвышенного и достойного поклонения, чем его честь и свобода. Он должен защищать их до последней капли крови, ибо нет у него более святого долга, более императивного закона, чем охрана национальной чести и свободы."

/( К л а у з е в и ц )